

*Борис Евсеев*

## ПЛАМЕНЕЮЩИЙ ВОЗДУХ

История одной метаморфозы

*При информационной поддержке главной книжной  
социальной сети Рунета [www.livelib.ru](http://www.livelib.ru)*

Серия «Самое время!»

Борис Евсеев находит такие темы и таких героев, что соперников в их описании и разработке у него чаще всего нет — это художественные открытия. Их нельзя не заметить. И потому Евсеев — лауреат Бунинской и Горьковской премий, премии правительства России за 2012 год, финалист «Большой книги», «Русского Букера», «Ясной Поляны»... Вот и роман «Пламенеющий воздух» — это не просто лирический гротеск и психологическая драма, но и единственное литературное произведение, посвященное загадке эфирного ветра. Казалось бы, представления о нем сохранились лишь в учебниках физики позапрошлого века. Но нет: группа современных ученых с помощью новейших экспериментов пытается вернуться к разгадке этой «пятой сущности» материального мира. И становится ясно: в XXI веке мы не можем больше сбрасывать со счетов запретные или признанные «неудобными» темы и альтернативные формы знания.

## КАК НАЧИНАЛОСЬ

Ниточка Жихарева, Савва Лукич Куроцап, засушенный австрияк Дроссель и даже сама мадам Бузлова не раз и не два просили меня рассказать эту историю.

Раньше бы я ни за что на такое дело не отважился.

Я — пачкун и марака, жалкий литературный негр я! И всякие там замысловатые истории мне не по плечу. Однако обстоятельства жизни все-таки заставляют меня о том, что произошло, рассказать.

Дело тут вот в чем.

Сейчас — пять утра. Ровно через три дня и почти в то же самое время я должен буду принять важнейшее в своей жизни решение. Меня ждет «великий переход», обещанный одним из участников всей этой заварушки.

Участник этот что-либо рассказывать меня, конечно, не просил. Он-то как раз хотел бы все оставить в тайне! Он, но не я.

Поэтому, откинув колебания, я просьбу новых своих знакомых выполняю. И постараюсь за оставшиеся до «перехода» семьдесят два часа рассказать, как все оно и было.

Разве добавив к собственным заметкам с десятков информашек местного радио, валяющихся у меня на столе в виде распечаток. Плюс кое-что из записей, считанных со спецтехники, которой пользовался еще один из фигурантов всей цепи этих странных, с чудинкой и «с присвистом», происшествий.

А начиналось так...

Старая ветряная мельница, дрогнув напоследок изломанными, просвечивающими насквозь крыльями, вдруг заглохла, остановилась. Наблюдавший за ней через монитор человек в армейском ватнике тут же принял решение развалюху эту чинить.

Однако добраться до мельницы, стоявшей метрах в трехстах от впадения Рыкуши в Волгу, смог на легкой своей дюральке только к вечеру.

Водяной насос «Ромашка» производства 1987 года еще тихонько урчал, а вот допотопная мельница-толчея как утром встала, так и стояла. Исправно работал только расположенный метрах в пятидесяти от нее трехлопастный голландский ветрогенератор на длинной железной ноге.

«Насос — к черту! Мельницу — для хозяйственных нужд... Вместо нее — еще один ветрогенератор. И как раз тут: у впадения Рыкуши в Волгу! Но это все — на той неделе. Сегодня — сил моих больше нет...»

Блеснуло заходящее солнце. Лодка подошла к самому урезу воды.

Запах сладко-умирающей гнили, смешанный с запахом грозового озона, вдруг пробил человеку обе ноздри сразу.

«Сентябрь, все отцвело, кувшинки и лилии сгнили, отсюда, наверно, и запах...»

Человек наклонился зачерпнуть воды из Рыкуши, но внезапно тело свое в наклоне задержал: при заходящем солнце и легчайшей волне собственного отражения он не увидел.

Бок лодки — тот отражался. Навесной мотор — тоже.

Человек поплескал себя ладошкой по щекам и склонился к воде ниже.

Отражения не было.

Тут он вдруг что-то вспомнил, стукнул себя кулаком по лбу, полез в карман за мобилкой:

— Не утерпел, Столбец? Врубил, я спрашиваю, программу?

— Ага! Уже минут десять как фурычит, — растянул рот во всю экранную ширь умный Столбец. — Короче: ты меня видишь — я тебя нет!

— Вот мы и замаскировались, — устало сказал человек в ватнике. — Ладно, вырубай свою программу. Рано еще. Смотри: облака грозовые собрались! Как бы опять смерча не было...

— Облака — кучево-дождевые. Вижу их хорошо. А смерч... Если и будет, то слабый, бичеподобный.

— Все, Столбов, хватит болтать. Как бы меня тут, к чертям свинячьим, не потопило. Отключайся мигом!

— Сейчас, — заторопился четко видимый на экране мобилки Столбов, — еще минуту тобой, прозраченьким, полюбуюсь. Облака, они еще во-он где...

Человек в ватнике, одной рукой продолжая держать перед собой мобилку, другой крутанул ручку навесного мотора, развернул лодку и быстро по узкой Рыкуше выскочил к Волге. Тут он мотор заглушил и глаза закрыл. Просто чтобы отдохнуть от красок вечеряющего дня...

Неожиданный порыв ветра вырвал из рук человека, не отражавшегося в воде, мобилку.

— Ну Столбец, ну остолопина!

В ту же секунду мощный воздушный вихрь неудачно, боком к волне вставшую лодку — перевернул вверх дном.

Крупные брызги и мелкий водяной сор закрыли видимость напрочь, зеленые водоросли густо залепили человеку уши, глаза, рот...

# РУССКИЙ БУНТ

## НА ОБОЧИНЕ

Бр-р-р...

Рань несусветная. Двадцать минут седьмого — а я уже на ветру, в сквере. Где буду в семь — сам черт не скажет!

Черт с копытами занес меня в эту дыру! Черт с копытами, или злой дух, или ненавистник рода человеческого — у нас его уклончиво называют случай — за пять дней измордовал так, что я теперь, как тот газетный пасквилянт, с дрожью и стоном припадаю к любому клочку бумаги, лишь бы освободить себя от накопившейся злости.

Конечно, мой новый работодатель (о нем позже) ничего из того, что я сейчас чувствую, запоминать или записывать меня не просил. А прежний хозяин (по имени Рогволденок, по прозвищу Сивкин-Буркин), у которого я вкалывал литературным негром и за которого три года подряд сочинял романы и повести — тот за такие записи наверняка бы все зубы пересчитал.

Но сейчас я ничего не пишу и по клавишам бодро не стучаю. Просто пытаюсь свести концы с концами и освободиться от надоедливых мыслей.

Утро едва только занимается. Ветерок теребит волосы. Острый волжский холод ползет за шиворот. Вокруг — осень, рваные облака, птичий помет и другие очарования жизни.

Нужно вставать, нужно идти. Но идти мне некуда.

Двадцать минут назад меня турнули из гостиницы. Грубо турнули и бесповоротно. Правда, вещички на час-другой оставить разрешили. Даже не столько разрешили, сколько горячо попросили оставить их.

Тима я, Тима! Тима, Тима я. Эх!..

Я сижу на узкой скамейке и по временам — от икоты и гнева — вздрагиваю. Слева — деревянный сарай без вывески: бывшая моя гостиница. Справа — скучноватое пространство сквера. В сквере — ни путан праведных, ни пьянчуг велеречивых. Только воробы и кусты. Мило, но не греет.

От волжского царапающего холода в голову лезут глупости.

И первая из них такая: хуже меня нет! Вот как я сейчас о себе думаю. И, конечно, тут же начинаю осматривать свои руки-ноги.

Руки слишком худые, ноги — в замшевых зеленых туфлях и явно длинней, чем нужно. А остальное?

По бокам муниципальной скамейки — тонированное оргстекло. Когда-то на нем крепилась крыша. Устраиваюсь вполоборота к мутноватому этому зеркалу. Смотрюсь. Видно плохо. Но в общем и целом ясно: лицо за ночь не посвежело, скулы все так же выпирают, нос длинноват и не имеет строгой формы — ни тебе кавказского гачка, ни греческой костяной выточенности, ни тайной еврейской горбинки. Словом, обыкновенный, бесформенный славянский нос — разве кончик едва заметно загнут книзу.

Отлипнув от оргстекла, припоминаю чужие о себе разговоры: «Какой-то он все-таки непонятный», «Дурня ломает, а видно ведь — парень себе на уме», «Такой худой, жалко даже».

Да, я худ, я страшно худ! И от этого часто хожу, похнюпившись, а кроме того, приобрел отвратительную привычку вдавливать ладонью в темечко вечно торчащую вверх прядь волос. Вот потому-то некоторым моим друзьям-приятелям и кажется — этому миру я не подхожу...

Так оно, скорей всего, и есть!

Нос мой языческий, нос славянский чует одну тоску гниющего воска. Нос втягивает в себя гнусно шипящий карбид и запахи очистных сооружений.

Язык готов навесить оскорбительные ярлыки на все, что вблизи и вдали происходит. Взял бы и откусил его!

Глаза направлены на поиски пороков и несовершенств.

Веки — занавес театральный! Схлопнул их и сразу чувствуешь: мир за веками — широк, велик. А перед внутренним взором — только узость, одна бедность.

Из-за всего этого во мне зреет злость. Из-за всего этого во мне вскипает несказанно прекрасный, но уже слегка и поднадоевший бунт!

Дома, в Москве, бунт всегда удавалось гасить. Иногда гасил сам, иногда со стороны помогали. Но здесь, в городке старинном, городке приречном — никому гасить свой бунт не позволю! Бунтовать так бунтовать!

Только ведь все это враки, что наш русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Может, он когда-то таким и был. Но не теперь. Теперь бунтуют не от бессмыслицы — от переизбытка мыслей и сведений!

Я, к примеру, бунтую потому, что вокруг (и это прямо в последние месяцы) стало что-то много холуев и захребетников. А за плечами холуев престарелых уже всюю

плоскозвучит и гадко кривляется поколение «жесть». Еще дальше — какие-то хипстеры. От них, опять-таки, одно плоскозвучие, даже — плосковоние.

Ни «жестью», ни хипстером быть не хочу! Мне — сорок. И, возможно, я подзадержался в развитии. Но, может, это я потому подзадержался, что непрерывно решал вопрос: выбегать или не выбегать на площадь, бить или не бить фонари у театров?

Тут, конечно, многие притворно вздохнут: как не бунтовать против нынешней власти, как не бунтовать против политики нынешней?

Ждете новых и лучших политиков? А хреном вам по колену! Политики новые всегда хуже предыдущих, а те, что приходят им вслед — ну просто ничтожества! Эти-то властные ничтожества, придя и утвердившись, первым делом выпускают на сцену очередного обделанного с головы до ног «радетеля за народ», и тот, припадочно закатывая глазки, возглашает: «А кто говорил, что будет легко?».

Так что не в политике дело.

Здесь, на скамейке, в городке старинном, малолюдном, я вдруг окончательно понял: наш русский бунт — он не против царизма, троцкизма, андропомании или путинизации! Это бунт против человеческого бессилия. Бунт против непонимания. Бунт возрастной и бунт любовный!

И конечно, это бунт против гадкого, копившегося веками отстоя, который теперь благоговейно называют «здравым смыслом» и который довел многих из нас до ручки, уничтожив походя все великие мысли, идеи.

Ну и на закуску главное.

Русский бунт — это бунт против всего. А значит — бунт против бунта!

И тут мы упираемся рогом в забор и копытом в стойло. И опять все начинаем сначала, а потом плюем от бессилия, блюем от выпивки и тошноты и, проблевавшись, идем горевать в шустрых сиренях, меж толстых пней или слепнувших от воздуха, изранившего их нежно-морщинистую кожу, сахарных канадских кленов...

По земле сквера бегают-прыгают пять воробьев и один голубь.

Я замахваюсь. Воробьи улетают.

Но голубь — ушлый, трепаный, давно человеческую любовь к птицам внагиак использующий — тот остается на земле.

И тогда я кончаю бунтовать, тогда с головы до ног окутываюсь смирением и пересаживаюсь со скамейки на низенький бордюр, на обочину дорожки, к голубю поближе.

Голубь дергает шеей, но остается на месте. При этом смотрит на меня косвенно, без сочувствия. Я протягиваю руку. Голубь, семеня лапками, отбегает подальше...

Ветер налегает сильней.

Вдруг мне начинает казаться: не бунт виноват и не голубь, даже не черт с рогами... Виноват ветер! Да, он!

Это волжский ветер измотал меня в последние дни до краю. Рвет он и путает мысли и уносит их обрывки к мусорным кучам, в сугубо полицейские, отдающие наказуемостью причин и непоправимостью следствий места. А я, как дурак, за эти обрывки цепляюсь, силясь ухватить что-то первостепенное, важное!

Так и сегодня. Все утро под звон и стон гостиничных безобразий меня мучила мысль о безвестной смерти. Безвестная смерть вдруг предстала порицанием и позорищем.

Безвестная смерть — она мелкая, ленивая, неопрятная! Сперва подступила ко мне в образе сварливой, много о себе понимающей горничной. Но по ходу дела переквалифицировалась в сотрудницу ЖКХ: с поджатыми губами, с противно вихляющейся стальной линейкой в руках, с хамским требованием сей же момент, сей же час освободить кусок жизненного пространства, мною без спросу занимаемого!

Стальную линейку сотрудница подносила к моему носу непозволительно близко, слегка ее оттягивала и с хриплым смешком отпускала. Линейка в воздухе лязгала, нос мой набухал, прежнюю жизнь следовало менять, начинать новую — не было сил...



## ЧТО БЫЛО

Воспоминания — худший вид казни. Это если они окрашены черным.

И сладчайшее из удовольствий. Это когда они окрашены розовым и золотым.

Но сейчас все цвета в моих воспоминаниях перемешались: черный, розовый, золотой. Мешанина, конечно, и в мыслях. Поэтому я стараюсь воспоминания от себя отодвинуть, цель и обстоятельства приезда в приречный город хоть на полчаса забыть...

Внезапно над ухом — голос. Унылое такое мужское сопрано. Или, скорей, высокий тенор. Приятно, что хоть чистый, без хрипа.

— Идемте в кафе, что ль... Так и окоченеть недолго.

Тон голоса понизился, в нем стала копиться энергия, появилась настойчивость:

— Тут близко, рядом... Кофейку выпьем. Хотите, встать помогу?

Подымаю голову.

Восточный человек, но одет по-европейски, притом с иголки. Плаща нет, зато костюм зеленый — зашибись. Кстати, и «восточность», если всмотреться, наполовину стертая.

Почувствовав интерес, «стертый» взбодрился, уныния в голосе как не бывало:

— И совсем не обязательно звать меня Селим Семеныч. Селим, Селимчик, так оно даже приятней. А наши — те вообще зовут меня Симсимиыч...

Сели в кафе. Принесли кипятку с морковкой. Наслаждаемся, пьем. Я слегка удивлен, но делаю вид, что все идет как надо. Вдруг:

— Я через полтора часа — тю-тю! Улетаю. Только вы не думайте, что я вас тут в беспомощном состоянии бросаю. Я б вас и в Америку, даже в Австралию с собой взял. Но лучше мы поступим так: месяца через полтора я вернусь, а вы тут пока приглядитесь, что да как...

— Это ж за какие такие грехи меня в Австралию?

— Вы, я вижу, узнавать меня не хотите.

— Я тут в первый раз и по делу. Чего в узнавалки играть? И вообще, нахрена вы меня из сквера выдернули? Ну есть у меня временные трудности. Ну так я скоро их решу...

— Да погодите вы грубить. А насчет временных трудностей... Давайте так: что если я предложу вам для начала... Ну, скажем... Десять тысяч рублей?

Я хмыкнул. Он понял по-своему:

— Хорошо. Двадцать!

Четыре красненькие без промедления легли на стол.

— Вы что, факир?

При слове «факир» Селимчик посерел лицом, а губы его — те и вовсе лиловыми сделались. Кожа на лбу еще сильнее натянулась и стала гладкой, как на африканском ударном инструменте (вот забыл, как он называется)...

Но вскоре Селимчик собрался с духом, улыбнулся и широко развел руками:

— Стараюсь, блин горелый...

По этому «разводящему» жесту я его и вспомнил! И серьезно удивился, почему не вспомнил раньше. Я на память свою не жалею. Я горжусь ею. А тут — прошляпил! Ведь этот Селимчик был на той самой тусовке, после которой я здесь, в приречном городке, и оказался!

На тусовке мы с ним и познакомились.

Вечер московский, вечер дивный, промелькнул передо мной, как слайд-шоу: Тверская, отель «Карлтон», виски «Ригл» двенадцатилетнее, девочки ласковые, неназойливые, по высшему разряду вымуштрованные...

Вечер устроил полуолигарх Ж-о, а пригласил меня на него кореец Пу.

— Вы еще тогда меня от балерины этой... — тут Селимчик с неожиданной застенчивостью и очень даже приятно улыбнулся, — ну от Тюлькиной-Килькиной, всю дорогу оттирали. Так это, бочком подступите и плечиком молча — тырк! С таким видом, что, мол, не дадим этим хитрым кабардинцам наших русских дам уводить. А какой я кабардинец? И какая Тюлькина дама? Я из Алматы, а она охламонка просто... Верней, — Селимчик нежно, как выдра, сожмурился, — обыкновенная субретка!

Балерина Тюлькина была на том вечере сбоку припека. Но, конечно, я ее запомнил. Запомнил и редкое слово: субретка. Селимчик тихо, чтоб никто не услышал, его и произнес, когда Тюлькина-Килькина, ломая каблуки, от нас к олигархам рванула.

Тюлькина насела на олигархов, а я тогда про Селима еще подумал: работает он в захудалом московском театрике, и скорей всего антрепренером. Причем играют в театрике одни только старинные пьесы, где все эти субретки, фаворитки,

слуги двух господ вместе с прочей лаковой шелупонью до сих пор и обретаются.

Подумалось мне и о том, что иногда потехи ради «кабардинца» выпускают на сцену, чтобы он там со страху на пол грохнулся или петуха пустил. А еще лучше — предстал в виде смазливового евнуха, каких нам время от времени являют в чисто немецком зингшпиле «Похищение из сераля»...

Но самое важное, что не давало тот вечер забыть, — это когда полуолигарх Ж-о меня с олигархом настоящим, с гением рынка и ценных бумаг, с хозяином рудников и многокилометровых колбасных цехов — с Куроцапом Саввой Лукичом познакомил.

Страшно не хотел, а познакомил!

Ж-о вообще весь тот вечер только и делал, что ограждал Куроцапа от влияний и посягательств. Ну а я на том вечере, как всегда, пребывал в глубоком тылу. Стоял себе, вполголоса сорил стишками.

У Максима Ж-о был секретарь-кореец Пу. Вот я и стал втихаря рифмами, как железными шарами во рту, погромыхивать:

Перли-терли Жо и Пу.  
Пу — расквасил нос клопу,  
А его хозяин Жо —  
Выглядел, как труп, свежо.  
Если сложим слог и слог,  
То получим не сапог,  
Не «привет», не «гамарджобу»,  
А одну большую ...

То, что я стоял отдельно от всех и шевелил губами, многих почему-то раздражало. При этом еще и еще раз — я не какой-то шибздик! Рост у меня пристойный, плечи в общем и целом неплохие, и я с первого удара перебиваю костяшками пальцев — кентосами — шестимиллиметровую доску: тхэк-ван-дой в юности занимался!

Правда, лицо у меня чуть плаксивое, затылок островат и прядь над ним, как тот ковыль в степи, развеивается...

Все это людей от меня при первом знакомстве отталкивает. Может, поэтому я в свои сорок не женат. Но с женитьбой я себя так утешаю: для меня перво-наперво дело. А интрижки с женщинами — так до них просто руки не доходят!

Теперь о деле. Здесь-то как раз собака и зарыта.  
Дело мое шаткое, ненадежное!

Сперва был я литературным негром, другими словами, регулярно сочинял за других. А совсем недавно пошел на повышение: предложили выступить в роли титульного редактора. То есть все так же сочинять чужие тексты — но уже обозначать на концевой странице собственное имя: редактор Тимофей Мокруша.

Говорили мне и советовали: «Иди в блогеры, олух! Там бабки, там возможности. Вторым Навальным через год станешь!».

Не пошел.

*Что мне Навальный, этот прусак подвальный?*

Да и само слово «блогер» мне омерзительным показалось.

Блох хер? Плохер? Герр Блядюкер?

Словом, от блогерства я отказался.

А блогера́ тем временем по штуке баксов в день огребают! А я тут, в приволжском кафе, кипяток с морковкой глотаю!

Тима я, Тима! Тима, Тима я...

Ладно. Опять про тот вечер.

Стою себе в сторонке. Смотрю, как полуолигарх Ж-о (полуолигархом его зовут потому, что на должности своей налогово-контролерской украл он только половину того, что милостиво ему позволили провинциальные власти), смотрю, как Ж-о и мой тогдашний работодатель Рогволд Кобылятьев по прозвищу Сивкин-Буркин друг перед другом выставляются, пургу гонят, турусы на колесах разводят!

Ну и дам, конечно, пощипывать не прекращают.

А тут — сегодняшний Селимка! (На том вечере он сильно позамухрышистой выглядел. Это сейчас — косою прибор, усики подстрижены, лысина напомажена. А тогда — ну просто рвань и срань тропическая! Брючки коротковатые, кофта лиловая, вместо галстука — шизоидная бабочка в горошек.)

Так вот. Начал Селимка к Тюлькиной, что-то быстро от олигархов вернувшейся, клинья подбивать. Но Тюлькина на него — ноль внимания. Селимка и отстал. А на его месте какой-то прокурорский в полном костюме правосудия вдруг очутился. В синем фраке, пуговицы аж на самой... Сразу видно, что не промах капитан! Потому как, не раздумывая, даму за бочок — и к туалету поближе.

«Ага, — подумал я тогда про себя, — сейчас самое время нашу русскую удасть явить, несгибаемый дух показать!»

И явил, и показал.

Вынул из портфеля добрый обломок красного кирпича да под нос прокурорскому и сунул.

(Я всегда этот обломок с собой таскаю. Сквозь «рамку» магнитную кирпич без писка проходит, а покажешь где надо — неизгладимое впечатление производит!)

Кирпич, правду сказать, особого впечатления на прокурорского (он приставом налоговым оказался) не произвел.

Но это только на прокурорского и только сперва!

Пока красная крошка с кирпича осыпалась, а пристав-прокурор гордо грудь расправлял, ко мне мой работодатель Рогволд Арнольдович Кобылятьев подступил. Мол, еханный насос и все такое! Как я вообще осмелился! Да меня и взяли сюда, чтобы базар уважаемых людей записывать, а я тут кирпичом машу, его, Рогволда, в идиотское положение ставлю. И вообще надо еще подумать, нужны ли ему, лауреату премии «Нац-Нац», такие, блин, помощнички.

Тут же Рогволд Сивкин-Буркин от меня, как от гриппозно-вирусного, и отвалил. А пристав-прокурор, чтоб дела не раздувать, подхватил Килькину, как пушинку, и куда-то в свои налогово-прокурорские владения унес.

Кстати, про Кобылятьева и про его прозвище. Писатель Сивкин-Буркин — так себе. Многоречивый, истерико-патетический. Не писатель — писателишка! Но скачет бодро. И на скаку огромные бабки рубит. И некогда ему чем-то другим заниматься. Поэтому в негры меня и пригласил. Поэтому деньги — пусть и скромные, но без задержки — платил.

Росточку в писателишке — не больше полутора метров. Лицо — синий сморчок. Губы узкой полосочкой. Говорит зажатым голосом, как та институтка на клиросе. Ручки — кукольные, игрушечные. Одним словом: недомерок!

И вот, пока я думал, какая же на самом деле погань этот самый Сивкин-Буркин, ко мне неожиданно сам Куроцап подошел!

Он так и представился: Савва, мол, Куроцап. И добавил: давайте по-простому, без отчеств. Савва, и все тут.

Как Савва Лукич на том вечере оказался — уму непостижимо. Не того он полета коршун, чтоб с такими, как Сивкин-Буркин, Килькина, кореец Пу и даже полуолигарх Жо, дружбу водить!

Куроцап — олигарх всамделишный. Воротила — первостепенный. Хозяин — на всю страну! Заводы, рудники, шахты. Никель, марганец, титан.

Ну и для души — всякие там ветчинно-рубленные предприятия: овцеводство, яки, верблюдофермы, прочая кожгалантерея. И все это новенькое, передовое, по

последнему слову техники оснащенное и упакованное. А потому — доход умножающее, федеральную казну доверху налогами набивающее!

Савва Лукич подошел и сразу меня взбодрил.

— Ты это, — сказал он радостно, — ну, в общем, того... девять-семь... — он с той же радостью, но и с неожиданным вниманием посмотрел мне прямо в глаза, — ну, я хотел сказать, ты кирпичом — славно так! И, главное дело, — неожиданно! Пристав этот сразу в штаны и наделал. Килькину-то он для отводу глаз увел. Не по этому делу он! А ты, я вижу, человек находчивый, раз новое применение кирпичу нашел, раз на вечеринки его в портфеле таскаешь...

Я не без изящества поклонился. А Куроцап продолжил:

— Ну а для веселых и находчивых и работенка всегда сыщется. Приползай ко мне завтра в офис на Смоленку, — он еще раз и опять как-то уж очень внимательно на меня глянул, — да гляди, с утраца мой офис с МИДом не перепутай! Ну шуткую, шуткую. Завтра скажу, в чем дело.

Тут Куроцап зачем-то подошел ко мне вплотную и померился со мной ростом. Росту мы оказались абсолютно одинакового. Куроцап, конечно, помощней, но и я неплох.

После обмера Савва Лукич даже зареготал от радости. Но потом спохватился и как-то совсем по-детски завершил реготанье нежным и одиноким звоночком смеха.

Тут, смотрю, мой Рогволденко, мой писателишка сраный, который четвертый год меня в черном теле держит, шась — и к нам! С ним полуолигарх Ж-о. Стоят, немеют. На глазах у писателишки — слезы счастья. Крупные, неактерские. А Ж-о руку к сердцу приложил и от сердца ее не отрывает, словно гимн Отечеству исполняют рядом. При этом Рогволденко носом пипочным воздух втягивает и над виском своим голову пальцами наминает: как пить дать, облапошить кого-то собрался!

Оправившись от потрясения (взаправдашний миллиардер ведь рядом!), Рогволденко и говорит:

— А позвольте вам, Савва Лукич, представить моего пресс-секретаря, — (сразу мне повышение вышло). — Он, как и я, на литературно-публицистическом фронте в бой с нашими и вашими врагами недавно вступил...

— Так он уже и без тебя, девять-семь... — Куроцап сделал паузу и от этой паузы стал еще мощней: высокий, квадратный, губы грозные, глаза лукавые, щеки полыхают, как две сахарные свеклы в разрезе, нос длинный, но и хищноватый, с чуть загнутым кончиком, — так он уже сам

себя отрекомендовал! Ну разве хозяин, если желает, пусть представит.

Здесь Ж-о расшаркался и наговорил обо мне много лестного. Но Савва его не особо слушал: он дружески хлопнул меня по плечу, а Рогволденку, вроде в шутку, к самой морде кулак поднес. (Прозорливо, ох, прозорливо Савва Лукич поднес его!)

Рогволденок побледнел, как поганка в дождь, а Куроцап медленно, вразвалочку ушел. За Куроцапом рысцей, рысцей полуолигарх Ж-о.

Через минуту Рогволденок, конечно, собрался с мыслями.

— Значит так, — раздул он синенькие свои ноздри. (А ноздри у него действительно синеватые, и весь его пипочный нос — тоже!) — Ровно половину из того, что Савва Лукич тебе предложит, откатишь мне.

— А морда не треснет?

— Морда выдержит. — Рогволденок во второй раз за вечер прикоснулся к височно-затылочной части головы. — А не распилим с тобой куроцаповские денежки — можешь собирать манатки и уматывать.

Жил я тогда и впрямь у Рогволденка. И вещички свои — что верно, то верно — держал у него. Да и как не держать было? У него квартира четырехкомнатная, а у меня комната в коммуналке: соседи газом травят, дети чужие глумятся с утра до ночи. И книгу заказную мы тогда с Рогволденком как раз строчили. Вот я к нему с вещичками и перебрался.

Правда, жена у Рогволденка оказалась сварливая. Но она все время на работу ездила. Сын-лоботряс — в продленке до ночи. Сам Рогволденок дома тоже не засиживался: с утра мыслишек накидает и в Думу или еще куда.

Сижу, бывало, из мыслей его выпутываюсь. А мысли у Рогволденка тяжелые, комковатые. С производственной, да еще и с полуфашистской какой-то начинкой. Она-то, полуфашистская, в первую очередь кобылятьевских читателей и соблазняла, она в первую очередь и продавалась.

Поэтому, когда я про манатки услышал, обычное плаксивое выражение (мышцами ощущать его научился) в лицо мое намертво — как узор в тульский пряник — впечаталось. Куроцап еще и не предложил ничего, а этот, синюшный, уже доходы мои на распил тащит!

Ноги у меня — титановые. Руки — клещи. Но жить современному, но откатывать и распиливать я никак не научусь. И от предложений таких — пусть даже полушепотом сделанных — всегда теряюсь: ноги становятся ватными, руки

виснут плетьюми. Но хуже всего — язык! Тот, наоборот, развязывается и начинает помимо воли нести всякую околесицу.

Что я Рогволденку в те минуты говорил — не помню. Помню только, что ругал его и поносил и на распил ни в какую не соглашался. Но потом выпил бокал «Ригла» и согласился подумать.

После «Ригла» Селимчик мне еще раз и попался. С ним тоже выпили и слегка в туалете повздорили. Но позже помирились. Дальше — смешно вышло. Селимчик спьяну тоже померился со мной ростом: маленький, толстопузый, он прыгал рядом, как колобок! На том и расстались...

Я встряхнулся.

Воспоминания о Москве пролетели мигом. И так эти воспоминания меня захватили, что на Селимчиковы слова я острозатылочной своей головой только кивал, а ничего из того, что говорил он, не слышал. Даже кипяток с морковкой глотать перестал. Все вспоминал и вспоминал.



## САВВА УРЫВАЙ АЛТЫННИК

На следующее — после олигархической тусни — утро ломило виски и дрожали пальцы.

Слава богу, Савва Лукич — офис его был с каким-то смутным дипломатическим прошлым, и табличка про наркома Чичерина, кажется, там была — принял меня сразу.

Оценив состояние — налил. С восторгом ощущая бульканье водочки в пищеводе и даже словно бы наблюдая ее сияние в верхних отделах желудка, — начало разговора я как-то упустил.

Однако середина и конец той московской беседы здесь, в приволжском кафе, вспоминались ясно, четко.

Я сидел в кресле, а Куроцап ходил от окон к двери, мимо громадного, без конца и краю стола. На столе высилась одиноко бутылка «Абсолюта» и лежала генеральская мерлушковая папаха с алым верхом. Занюхивать новой папахой было неудобно, и я время от времени подносил к носу кулак, пахнувший порошком из кобылятьевского принтера.

— ...и все-то вроде мы про нее знаем, — говорил с выражением Савва, — а вот чего-то главного и не знаем, нет! А ведь она, девять-семь, великолепна, она в своем роде — неповторима. Куда лучше закордонных! Да и многих отечественных получше... Понимаешь? Как балерина она в сметане! Ну, то есть, я хотел сказать — ножки у балерины по щиколотку, даже по колени черные, загорелые. И мордочка тоже темная... А сама... Сама балерина — не в материи белой, а в жирненькой смачной сметане. Или, точнее, в сероватом йогурте: от бедра и по горлышко... Вот она какая! А мы — не ценим. Мы три шкуры с нее драть готовы. А все почему? Потому что слишком сухо, педантически, ну, в общем... Ты же грамотный человек, понимаешь... Словом, слишком научнообразно про нее думаем! А она — слабенькая! Они все — слап-п... — тут Савва Лукич заглотнул слишком большую порцию воздуха и, захлебнувшись, на минуту стих.

Постепенно я сообразил: речь идет о неведомых людях, накрепко, как Робинзон с козой, связанных с некими домашними животными — загадочными, прекрасными и, без всяких сомнений, отечественными.

— А она, а они... Ну, в общем, когда ты их узнаешь получше, тогда и поймешь, тогда и напишешь настоящую книгу. Но учти! — Савва погрозил мне кулаком, — автором

книги буду я. Потому как книга необычная будет. Я ведь и сам необычный. Но и ты, гляжу, не промах... Кирпич принес?

Я с готовностью полез в портфель.

— Верю, верю, — засмеялся Куроцап, — и вот поскольку ты такой, какой ты есть, будешь у меня, как это называется... титульным редактором! Жизнь и судьбу ихнюю на весь мир прославишь! Ну? Лады?

— Кончено, лады... Только, Савва Лукич...

— Просто Савва. Я в некотором роде как Морозов. Или даже как Мамонтов. Новый народный капиталист я! Точней — капитал-разведчик. А не какой-то там урывавай алтынник... А скажи-ка мне, дружок, — вдруг переменяет он тему, — тебе сколько годков от роду?

— Сорок восемь, — соврал я, прибавив себе зачем-то целых семь с половиной лет.

Савва потускнел и смолк.

Я откашлялся.

— Так вы, уважаемый Савва, мне поясните: о какой группе лиц, или, точней, о какой страте (решил блеснуть я итальянщиной и блеснул удачно: глаза Куроцаповы сочувственно округлились) пойдет речь в нашей книге?

— Неужто сорок восемь? А видом — так сильно моложе.

Я скромно пожал плечами: мол, что имеем, то имеем.

— Ладно, — вдруг улыбнулся Савва, — врать ты, кажется, тоже здоров. И про страту верно сказал... Наше, славянское слово! Старинное. Стратил, истратил, казнил... Их ведь тоже вчистую почти уничтожили... В загонах да за колючей проволокой при Советах держали!

— А вот про лагеря, Савва Лукич, — даже не просите! Сил моих больше нет. Столько книг про лагеря уже настрочил. У нас теперь что ни писун, то лагерник! Вроде люди как люди, а как заведутся, как начнут лишения свои расхваливать... И, главное, не скрывают ведь, что бандосы! А политическую подкладку к несчастьям своим давним и нынешним подшивают и подшивают...

Савва задумчиво глянул на окна. Я его движение повторил.

Смоленская площадь глянула на нас в ответ с удивлением, но и с интересом немалым.

— Да, правильно ты сказал. Они — как люди! Даже лучше людей! А вокруг них наши отечественные волки-заготовители рыщут: жадные, клыкастые... А у тех... И душа у них лучше, и задница чище. Только что мы с тобой об их личной жизни, об их любви, об их заботах знаем? Да ни хренашечки. Ты вот сейчас думаешь: она побежала, хвостиком вильнула, Куроцап

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)